



Вячеслав КОНДРАТЬЕВ

ИНТЕРВЬЮ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

— Тема Великой Отечественной войны, начинал с первой вашей повести «Сашка» и других, составивших первую книгу, стала главной в вашем творчестве. Публикуемый сегодня рассказ «Лихоборы» снова возвращает нас в суровое время прошедшей войны. О том, как начиналась ваша творческая биография, «ЛГ» уже рассказывала. Тем не менее, Вячеслав Леонидович, хотелось бы знать, как выстраиваются ваши книги, их же составляют самостоятельные вещи — объединены они одной задачей? И еще. Военная

выйдет в журнале «Знамя» в голове, но все откладывал — другие казались важнее — и вот написал, потому как не один я проезжал около дома по дороге на фронт. Таких случаев уйма, и кому привалило счастье увидеть родных, кому не вышло, но переживания эти для каждого незабываемы: нестерпимо остры были чувства, и надеюсь, что многим из воевавших будет этот рассказ близок, напомнит что-то подобное, случившееся и с ним, ну а читателям помолочке покажет еще один «кусочек» военного времени.

В литературе о Великой Отечественной еще много «белых пятен». Вот недавно читал я присланную мне рукопись участника войны И. Г. Ушаковского о «Бельском котле», куда попала часть 29-й армии в сорок втором году. Что люди там пережили, как просуществовали, как отбивали немецкие атаки, что перетерпели — ведь мало

кто знает. А разве эти люди не достойны быть героями повестей, рассказов? Каждый день любого участника этого события был подвигом. К сожалению, автор не писатель, и ему было трудно справиться с такой сложной задачей, но рукопись его надо кому-то взять, кому-то хранить, потому что факты достоверны, бои описаны точно. Пусть эта рукопись — не художественное произведение, но ведь она прекрасный материал! Увы, пока что плохо мы занимаемся сбором таких рукописей, мало кто берет их на хранение, как взяли сейчас писателя фронтовика. А поднял этот вопрос еще К. Симонов, писал об этом В. Быков...

Легит у меня сейчас рукопись недавней ушедшей быстрой разведчицы, действовавшей на Калининском фронте, попавшей при неудачном переходе линии фронта в лапы немцев и угодившей в ржевский лагерь. Прислала, полагая, что у писателя

записки ее все же сохранятся. Написаны воспоминания скупо, факты предельно точны. Литераторы нашего поколения вряд ли смогут взяться за писание произведений по чужим материалам — еще не все свое сказано. Но для будущих авторов, которые будут писать о войне, такие воспоминания участников, на мой взгляд, — бесценный материал.

О том, как пойдет дальнейшее развитие военной прозы, задумываются, наверное, все занятые этой темой писатели. Главное, чтобы не было повторов, чтобы не буксовала военная проза. Иначе потеряет читателей. А чтобы не повторяться, — значит, нужно нам заполнять «белые пятна». А если писать о событиях уже более или менее известных, то писать в другом, более жестком уровне правды. Война — это и горечь, и боль, и гордость, и слава наша.

Беседу вел Т. ЗОЛОТУХИНА



Рисунок В. СОПИНА

ЛИХОБОРЫ

ЭШЕЛОН подошел к Москве... Несмотря на холодный день, двери всех вагонов были раздвинуты, и бойцы сгрудились около них, жадно глядя на проплывающие мимо окраины столицы.

В нашем вагоне москвичей нет, и мне уступают место у самого бруса, ограждающего дверь, к которому меня, кстати, здорово прижимают стоящие сзади и напирание — Москву увидеть хочется всем.

Я смотрю на знакомые с детства, примыкающие к железной дороге окрестности, узнавая и не узнавая их, потому что никогда не проезжал по Казанке зимой, никогда не видел столько снега на московских улицах, не говоря уж о торчащих ежах и надолбах, которые вижу вообще впервые.

— Я вам не завидую, командир, — говорит мне Савинов, бывший бухгалтер, теперь рядовой моего взвода.

— Почему?  
— Когда едешь на войну, мимо дома лучше не проезжать.  
— Не знаю... Может быть, — рассеянно отвечаю я, не оборачиваясь, прикованный взглядом к пробегающим мимо московским придорожным домикам.

— А я знаю, — грустно роняет Савинов, вздохнув.

Савинов едет на фронт во второй раз. Был уже ранен, провалялся в госпитале и попал на формирование нашей бригады в маленьком уральском городке. Таких во взводе несколько. На тактических занятиях эти ребята небрежны и ироничны. На эти пустые, по их мнению, игры не стоит тратить ни сил, ни времени. Все это ерунда — показывали они всем своим видом. На фронте все будет не так.

Может, действительно все будет не так... Но сейчас... Эшелон замедляет ход, и я тесно сквозь предупредительную дымку стараюсь рассмотреть башенки Казанского вокзала. Мне кажется, что вот-вот они должны появиться, но, увы, так близко поезд вряд ли подойдет... От Каланчовской площадки до моего дома всего пять трамвайных остановок! Вот как близок мой дом! И как далеко! Он так же недоступен, как был и на Дальнем Востоке. И эта близость, и эта недоступность взрывают мне сердце.

— Вы правы, — говорю я Савинову. — Быть около дома... — Я не заканчиваю, потому что он кивает головой, все понимаю.

Да, не думая я, в какое смятение меня приведет близость Москвы и как мучительно будет встреча с ней. Разве так я мечтал вернуться в родной город! Во-первых, я должен бы приехать с Ярославского вокзала, во-вторых, меня должны были встречать все близкие и все друзья, потом, я должен был быть в командирской форме с кубарем в петлицах — красивый и счастливый, отслуживший кадровую и вернувшийся настоящим мужчиной. Увы, я в серой солдатской шинельке, в грубых сапогах, и никто, никто даже не знает, что я подъезжаю к Москве. И я не могу о себе дать знать.

Эшелон движется все медленнее и медленнее и наконец останавливается. Все выскакивают из вагонов. И среди ребят из других вагонов я безошибочно узнаю москвичей — они молчат, бродят около вагонов, поглядывая вперед, надеясь так, как и я, увидеть башенки вокзала.

Из соседнего вагона, где располагается первый взвод нашей роты, прибегает Мишка Помогаев, мой друг и дальневосточный однополчанин, с которым вместе трубили в полковой школе.

— Далеко твой дом отсюда? — спрашивает он, угадывая мои переживания.

— Близко, — отвечаю, а сам прикидываю: сейчас бегом по путям до Казанского, это минут десять — пятнадцать, а там трамвай, тоже приблизительно столько же. Итого — полчаса, и я — дома! Бог ты мой! Десять минут на встречу и прощание с матерью, а потом опять бегом до трамвая. Всего-то час с чем-то нужен мне! И только! Но как долго будет стоять эшелон на этом месте, никто не знает.

— Может, попроситься? — советует Мишка.

— Не пугай, Мишка, — отвечаю я в полнейшей безнадежности.

— Да, пожалуй... — сочувствует мне Помогаев, который помочь мне, несмотря на свою фамилию, не может.

А вообще очень хорошо, что Помогаев в одной со мной роте. Не говоря уж, что в полковой школе вместе были, сдружился очень за месяцы формирования. Верный товарищ, в разведку с ним можно.

Тут видим мы, как какой-то красноармеец, не выдержав маэты, с отчаянным лицом выхватывает рукой — была не была! — и кубарем скатывается с насыпи. Ухватив в снег, бежит он к стоящим недалеко трехэтажным домикам. Ребята из его вагона столпились и смотрят ему вслед, покачивая головами. Мы с Помогаевым подходим к нему.

— Сестра у него тут живет. Меньше километра. Вот и не выдержал, — говорит один.

— Я бы тоже не выдержал, — бормочет другой.

— А если уйдет эшелон?

— Догонит...

Проходит минут пятнадцать. Эшелон стоит как на месте. Все, не отрываясь, глядя туда, куда побежал боец. На его следы в снегу, на домики, к которым он побежал... Застанет ли он сестру? Успев ли к эшелону? Обо всем этом идет между нами тихий разговор, в котором главное — успев ли вернуться?

Паровоз вдруг дает несколько гудков, ляг бугферов. с головы до хвоста поезда пробегает дрожь, вагоны дергаются, и эшелон медленно протягивается вперед. Мы вскакиваем в вагоны, а идем за ними, еще не веря, что поезд окончательно тронулся. И верно, проехав немного, он останавливается. Все облегченно вздыхают.

— Надо бы ему поскорее, — замечает кто-то.

— А может, у него не сестра совсем... — ухмыляется другой.

— Ну, ежели не сестра... Тогда и опоздать можно.

Предположение, что красноармеец не у сестры, কিনутое нам, заставило всех внутренне сжаться.

Но вот наконец видим мы бегущую фигуру и вздыхаем с затаненной завистью — повезло одному из нас нестерпимо. Он бежит с раскрасневшимся лицом, открытым ртом и ошалевшими глазами. Добежав до вагона, он сразу залезает в него. В руках маленький сверток, какие-то, наверно, гостинцы.

Серая утренняя дымка понемногу рассеивается, и я вижу или мне мерещатся башенки Казанского вокзала. Сердце начинает трепыхаться, охота реветь, и я чувствую, как подступают слезы. Чтоб никто этого не увидел, я залезаю в вагон, карабкаюсь на верхние нары, ложусь на спину и утыкаюсь взглядом в грязный дощатый потолок вагона — поскорей бы двинулся эшелон, поскорей бы проехать Москву... Да, когда едешь на войну, мимо дома лучше не проезжать. Прав мой Савинов.

Немного погодя поезд трогается, но не вперед, а назад, видимо, для того, чтобы выехать на окрестную. Так и оказалось. По окрестной железной дороге я никогда не ездил и потому знакомых мест пока не вижу. Только один раз промелькнула какая-то окраинная улочка, вроде бы знакомая, которую я краем глаза заметил с нар. Я слез и опять прибежал к двери, и не зря, потому как вскоре стали мы проезжать местечко без Москва-реки и справа выплыл Нескучный сад. вдали Парк культуры и серенкиным ажурным силуэтом — Крымский мост. Сердце дрогнуло, и я уже прилип к двери. Все было в снегу и в сером облачном дне расплывчатое, неясными, почти неуловимыми контурами. Но это была уже настоящая Москва, которую я не видел почти три года. Радость и боль перемешались во мне, но вскоре из этой смеси вышло одно чувство — какой-то большой и тихой грусти, которая тяжело давит низ живота и одновременно сдавливает горло. Какое-то расплывчатое, кислое состояние, стражники которое даже не пытаются. Есть в нем какая-то горькая сладость свиданья-расставанья и еще что-то значительное: вот ты и увидел родной город, который реался защищать и который будешь защищать.

Проехав мост, мы остановились на станции Воробьевы горы, с которой раньше не имел представления. Все высипали на перрон и стали смотреть на Москву: прямо шла набережная, левее виднелся Новодевичий монастырь. Москвичи бросились к единственному телефону-автомату, образовалась очередь. Я к телефону не бросился, но все же подошел поближе и слушал, как другие, страшно волнуясь, но нарочито бойкими голосами разговаривали с родными. Я смотрел с завистью, но вскоре понял, что особой радости эти короткие разговоры не приносили. Люди отходили с победными лицами, с жалкими и растерянными улыбками. Что можно сказать за какие-то две-три минуты? Нет, лучше уж не зvonить. Лучше просто верить, что ты вернулся в Москву, что встреча впереди... Ведь никто же из нас не ехал на смерть. Мы ехали на войну, на бой, но не на смерть. Не верилось в нее в двадцать ребяческих лет.

Но все же, но все же... И я смотрел на растянувшийся передо мной родной город с мыслью горькой — увижу ли еще раз, вернусь ли?

— Мама, — говорит кто-то в трубку. — Ты не волнуйся. Я вернусь. Я верю, что вернусь, и, зная, чувствую, что весной. Да, да, мама, весной.

Я смотрю, как кривятся его губы, как дрожит рука, держащая трубку, и вдруг ощущаю по какой-то еле заметной тени, прошедшей его по лицу, что он... он не верится, что это его последний разговор с матерью... И мне становится жалко его, себя и всех в эшелоне, который везет нас на неотвратимый, неизбежный фронт...

— И сколько же мы по Москве кружить будем? — спрашивает меня Савинов. — Скоро она кончится? Сколько нам еще маяться?

— Москва большая, — отвечаю я, а сам думаю, что хоть и тяжело было проезжать мимо дома, но все же хорошо, что увидел Москву. Ее нерадостный, военный облик теперь будет стять у меня перед глазами там, где понадобится мне все силы любви к родному городу.

Тем временем эшелон опять останавливается, а потом начинает подаваться назад. Здесь опять показываются знакомые места. Вижу, что подтягиваемся мы к Киевскому вокзалу, здание которого начало вырисовываться вдали. Не доехав до него около километра, мы встает, и, видимо, надолго. Опять высипают все из вагонов и разбираются по путям. Как всегда, в каком-нибудь вагоне оказывался бойкий и всезнающий паренек, эдакое ходячее «информбюро», который узнает все быстрее и точнее всех. Нашелся такой и в нашем эшелоне.

— Стоять будем всю ночь. До утра. Точно. Мне дежурный сказал, — уверенно заявляет он.

Бог ты мой! До самого утра! И опять зануло внутри: может, все-таки попробовать отпроситься?

По междупутью — прямой и высокий, в белом, перетянтом ремнями, полушубке — вышагивает комиссар нашего батальона, нервно кура и бросая взгляды на вытянувшиеся вдоль путей московские дома. Я пристраиваюсь к нему и вышагиваю рядом. Комиссар несколько раз глядит на меня, а потом, на повороте, когда мы сталкиваемся лицом к лицу, спрашивает:

— Москвич?

— Москвич, — отвечаю с придыханием, потому что надежда хлынула на меня горячей волной, и я даже растерянно криво на воротнике шинели — стало жарко.

Но комиссар ничего не добавляет, и мы продолжаем вышагивать вдоль эшелона молча.

— Товарищ батальонный комиссар, говорю, эшелон до утра простоят? — кидая я осторожно.

— Кто это говорит?

— Говорят...

Никто ничего не знает, сержант. Можем тронуться через час, а можем и через сутки, — комиссар смотрит на меня и, улыбаясь, добавляет: — Что, близок локоть, да не укусишь?

— Именно, — я тоже улыбаюсь, а потом, осмелев, продолжаю: — Часа за два я бы управился.

— Где ваш дом?

Я отвечаю.

— Да, вполне бы управился, — комиссар останавливается, достает папиросы, предлагает мне, и мы закуриваем. Меня начинает бить мелкая дрожь — вдруг отпустил? Но он, закури, продолжает свой ход вдоль вагонов, а я плетусь за ним, так как идти рядом считаю неудобным.

— Вы давно не были дома? — спрашивает комиссар, приостановившись.

— С октября тридцать девятого.

— Давненько... — протягивает он и, прищурясь, смотрит на меня.

Я набираю в легкие воздуха и решаю:

— Я бы и за полтора часа успел.

— Возможно, — неопределенно говорит комиссар и идет вперед.

Я продолжаю плестись за ним. Все же какая-то малосенная надежда еще теплится в моей душе. Комиссар хорошо ко мне относится. Он выносил мне благодарности перед строем на последних учениях. Тогда я командовал взводом и был уверен, что на меня, да и на всех нас уже послан материал на аттестацию. Может быть, так и было, но за неделю перед отправкой на фронт прислали лейтенанта из трехмесячного училища — молоденьких ребят, двадцать второго года рождения, «фазанов», как мы их называли по-дальневосточному. Комиссар опять приостанавливается, видно, для того, чтоб дождаться меня.

— Не могу отпустить я вас, сержант, хотя прекрасно понимаю ваши муки. Кстати, я тоже москвич, и мой дом еще ближе, чем ваш. Но нельзя, Эшелон может тронуться каждую минуту.

— Но сказали же, что до утра... — беспомощно лепечу я.

— Мало ли что сказали.

— Понимаю, — упавшим голосом говорю я и отхожу от комиссара с поникшей головой.

Но тут, после отказа, мне так невыносимо захотелось увидеть мать и побыть дома хоть минуту, что я уже не мог найти себе места. Не поверил я комиссару, что эшелон может тронуться в любую минуту. Это он для того, чтобы мотивировать отказ. Я бросаюсь разскизывать того всезнающего бойца, который выжал, что эшелон простоят до утра. Нахожу его стоящего среди кучки ребят и что-то им рассказываю.

— Откуда ты знаешь, что эшелон до утра простоят? — спрашиваю его.

— Откуда? Видишь, эшелоны уже несколько суток тут прихуляют, а они с оружием. А у нас его еще нет. Ясно, что мы в последнюю очередь двинемся. Пути, говорят, до самого Малоярославца забиты... А, что, сержант, домой хотите сбегать? Валайте, я разрешаю, — смеется он.

— Чего скальшишь? Мучается человек, а ты... — говорит кто-то, с сочувствием глядя на меня.

— Так если бы я москвичом был, то и не задумывался. Мигом спонял. Нет, правда, сержант, долго мы стоять здесь будем.

Я перехожу пути, прохаживаясь около другого эшелона, спрашиваю, давно ли стоят. Стоят двое суток. И действительно — в полном боевом реяте, при автоматах и винтовках. Выхожу к какому-то железнодорожному зданию, ищу кого-нибудь из железнодорожников, чтоб спросить, но никого не нахожу. А за этим домом уже маячат большие, многотажные московские дома Дорогомиловской улицы, по которой, как помню, ходит троллейбус, второй номер, идущий через центр до Рижского вокзала. До моей остановки, Грохольского переулка, — минут сорок езды. Почему-то оглядываюсь по сторонам и ныряю в какой-то двор и бегом по нему. Выбегаю в другой, пролетаю его, потом еще, еще и наконец-то, запыхавшись, выскакиваю на Дорогомиловку. Боже, настоящая и знакомая московская улица! Родная! И совсем недалеко троллейбусная остановка, к которой уже подходит троллейбус. Бегу! Бешено колотится сердце. Уже хватается за поручни, еще одно движение, и я в троллейбусе, но вдруг что-то останавливает меня, я опускаю руки и... остаю на остановке. Ругаю себя за нерешительность, но не сажусь и в следующую машину. Третьего троллейбуса уже не жду, а медленно поворачиваюсь, оглядываю Дорогомиловку и вхожу под арку какого-то двора. Неожиданно меня охватывает спокойствие, такое удивительное после сурово-сурового и лихорадочного состояния, когда я бежал через дворы и пропускал троллейбусы. Вдруг появилось уверенное и ясное чувство — я вернулся в Москву, я вернулся в Москву, я очень скоро вернусь в Москву... И очень хорошо, что я воздержался от поездки домой, очень хорошо... Но сразу вспомнились слова, точно такие же, которые говорил боец по телефону своей матери на Воробьевых горах, и та тең на его лице, и мои мысли. И опять обрушился тревога, опять сожаление, что не поехал. Потом вспыхнуло — не ушел ли эшелон, и я опять бегом проскиваю проходные дворы и вылетаю к путям — слава богу, эшелон на месте. Все так же расхаживает комиссар, и все так же топчется у вагонов красноармейцы. Я перехожу на прогулочный шаг и не торопясь подхожу к своему вагону, залезаю в него, забираюсь на свое место на нарах, закуриваю и хочу возвратиться то вспыхнувшее на улице чувство, что я обязательно вернусь в Москву, но оно не возвращалось, а наоборот. В сердце снова заползает тошнотная тоска, я даваю в себе бессмысленные надежды и только хочу, чтобы поскорее тронулся эшелон и поскорее бы Москва осталась позади... Но эшелон все

стоит, я больше не могу лежать в бездействии и, искуив две цигарки, опять вылезаю из вагона. Ох, эта маега! За несколько часов, пока находимся почти в Москве, меня словно опускают то в холодную, то в горячую воду. Я измучился по-настоящему, и, наверно, все это отражено на моей физиономии. Подошедший ко мне Помогаев смотрит с состраданьем. Мой боец Савинов говорит:

— Я вот так же маялся, командир, когда мимо дома проезжал.

— Бы тоже москвич? — спрашивает меня подошедший лейтенант с перевязанными руками, услышавший, видно, наш разговор.

— Да.

— Ну и что, сержант? Мотанем? Часа за полтора обернемся. Я на Тверской-Ямской живу.

— Я уже выходил на Дорогомиловку. Чуть в троллейбус не сел, — признаюся я. — Но что-то удержало.

— Да... Отстанем — неохота дезертиром слать, — выплевывая цигарку, говорит лейтенант.

— Что у вас с руками?

— Черт его знает! Какая-то экзема нервная пошла. Врач говорит — на фронте пройдет. Это я без него знаю, — он замолк, а потом в сердцах: — Понимаешь, ни хрена никто ничего не знает. Я ходил к командиру.

— Ну и как? — перебиваю его.

— Мы не в Малоярославце едем. Свернем с окружной куда-то. А когда тронемся — неизвестно. Давайте подождем маленько. Когда определится направление, тогда хоть знать будем, по какой железке догонять. А сейчас... Он сокрушенно покачивает головой.

Мне становится немного легче — не один маюсь. И с лейтенантом не расстаюсь. Эшелон неожиданно дергается, мы вскакиваем в вагон.

— В нашем поезде. Будем разведку вести по дороге... Ох, как мне хочется дома побывать, мочи нет.

Мы становимся у двери и смотрим, как удаляется Киевский вокзал.

— Вообще-то всего два вероятных направления: либо на Рижскую свернем, на Волоколамск, либо на Октябрьскую, на Калинин. Если за Волоколамским шоссе налево свернем, значит, туда, на Волоколамск. Если дальше, то на Октябрьскую, — говорит лейтенант.

Поезд почти ползет, часто останавливается, и никак мы не доедем до Волоколамского шоссе... На одной из станций видим телефон-автомат. К нему бросаются несколько человек. Дергается и лейтенант, но не бежит.

— Нет, не буду. Что толку. А тебе некуда позвонить? — спрашивает меня.

— Мать написала, что телефон сняли.

— Ну, а кроме дома?

— Я за три года забыл все телефоны. Понимаете, у нас телефон поставили незадолго до моего отъезда в армию, мало звонить пришлось.

— Вспомни чей-нибудь, кто недалеко от вас живет. Сбегают, сообщат матери.

— А что сообщат? Что еду на фронт? Это мать знает.

Я начинаю вспоминать все же чей-нибудь телефон и вспоминаю — бабушки, которая живет с дядей. Дядя, конечно, нет, в армии, но есть два моих двоюродных брата, которые смогут сбегать к матери. Ну, сбегает и скажут, что я кручусь вокруг Москвы, но это же разорвет матери сердце: сын так близко, а повидать нельзя. Нет, не стоит... Но тут лейтенант подает идею:

— Когда узнаем точно, куда едем, то можно позвонить и сказать, чтоб приехали на какую-нибудь станцию на окружной. Понял?

— Понял, — отвечаю я и меня начинает опять трясать от волнения.

— Если на Волоколамск, то, значит, попадем под Ржев, — говорит лейтенант. — Там, говорят, бои идут сильные. Прощай мое боеспитание, — с горьким смехом говорит лейтенант.

Он старше меня. Наверно, уже окончил институт. Вот такого бы мне заводного, а то прислали сосунку, молоко еще не обсохло. Правда, мой лейтенант — тихий и хороший парень. Застенчив, как девочка, и часто краснеет. Сейчас он безразлично лежит на нарах. Иногда пытается закуриуть, но сразу же расквашивается. Курить он начал только в эшелоне.

Но сейчас мне ни до кого. Мы с лейтенантом с перевязанными руками дымим, как два паровоза, и ждем, мучительно ждем, когда тронется наш состав. Я чувствую себя совершенно разбитым. Эти полдня, которые мы крутимся около Москвы, мне, наверно, не забыть никогда. Мучительные переживания у меня не было в жизни. И переживаю я не только за себя. Я знаю, что значит для матери повидать меня перед фронтом после почти трехлетней разлуки. Повидать, может быть, в последний раз. Мы же едем в самое пекло. Еще идет московское наступление, и хотя продвигаемся медленно, но все же двигаемся. Конечно, севскую, сформированную в основном из кадровых дальневосточных ребят бригаду с хода же бросат в бой. Лейтенант лучше меня знает, что это такое. Он, находясь при бригаде, и то не строит никаких иллюзий, а что же предстоит мне — помкомзвода стрелковой роты! Вспомню, как бежали, проваливаясь в снег, на последних бригадных учениях на Урале. Бежали налеге, и то еле-еле продвигались по заснеженному полю, налеге и не под огнем. Ладно, чего там, отбрасываю я тяжелые мысли, чего травить себя прежде времени.

Наконец эшелон трогается. Пути дальше разветвляются. Наверно, приближаемся к Рижской дороге. Тут поезд делает маневр, и нам непонятно, каков же будет дальнейший путь. Опять останавливаемся в каком-то тупике. Вижу того парнишку, который на Киевском предрекал долую стоянку. Останавливаю его:

— Куда поедешь, знаешь?

— Конечно. На Октябрьскую должны выехать, а там на Калинин. Ежели Октябрьская не примет, значит, где-нибудь на окружной стоять будем, — не задумываясь отвечает он. Я недоверчиво усмехаюсь. — Точно, командир, у машиниста я узнавал.

— Правда?

— Клянусь чем угодно.

— Действительно у машиниста узнавал? — переспрашивает лейтенант.

— Вот те крест, — смеется парнишка и делает вид, что собирается креститься.

— Не криляйся, — кидает лейтенант и, повернувшись ко мне, говорит: — Пошли телефон искать.

Приходится довольно далеко отойти от эшелона, чуть ли не до Волоколамки, и тут находим будку. Лейтенант звонит первым. Автомат, к нашему удивлению, работает (война, а работает!), но он никого не застает, телефон не отвечает. Теперь в будку залезаю я, опускаю гривенник, слышу гудок и набираю номер — КО-36-72. К телефону долго никто не подходит. Я знаю, что бабушке надо прийти весь коридор и войти в комнату к тетке, поэтому жду терпеливо, но все же волнуясь.

— Бабушка! Это я! Алексей! Я на окружной железной дороге...

— Господи, — шепчет бабушка, — где ты? Где?

Я повторяю и прошу сообщить матери. Может, кто из братьев сбегает. Бабушка отвечает, что никого нет дома, но телефон в квартире матери включен, сейчас она скажет номер. Я ликую! Достаю карандаш, приглатываюсь записывать, но этого не надо — телефон намертво впечатывается в память.

— Бабушка, ну пока... Надо скорее звонить.

Она что-то спрашивает, но мне не до разговоров, меня трясет, и я кричу:

— Пока, бабушка, пока! Целую! — и важаю трубку.

Набираю номер своей квартиры... Неужели сейчас я услышу мамин голос? Это кажется невозможным, неправдоподобным. Почти три года! К телефону подходит мать и говорит, как обычно:

— Слушай.

— Мама! Это я! Приезжай на станцию Лихоборы на окружной дороге. Туда подойдет скоро наш эшелон. Это где-то у Коптева. Узнай у кого-нибудь...

Мать ничего не восклицает, не охает, а говорит каким-то сдавленным голосом: — Я разузнаю. Это, наверно, далеко. Я смогу приехать через час-полтора. Застану ли тебя? Что привезти?